Сергей Есенин

Анна Снегина



Часть сборника Жизнь моя за песню продана (сборник)

Annotation

«Село, значит, наше – Радово, Дворов, почитай, два ста. Тому, кто его оглядывал, Приятственны наши места. Богаты мы лесом и водью, Есть пастбища, есть поля. И по всему угодью Рассажены тополя...»

• Сергей Есенин

- o <u>1</u>
- 0 2
- 0 3
- o <u>4</u>
- 0 5
- <u>notes</u>
 - 0 1

Сергей Есенин Анна Снегина

А. Воронскому

«Село, значит, наше — Радово, Дворов, почитай, два ста. Тому, кто его оглядывал, Приятственны наши места. Богаты мы лесом и водью, Есть пастбища, есть поля. И по всему угодью Рассажены тополя.

Мы в важные очень не лезем, Но всё же нам счастье дано. Дворы у нас крыты железом, У каждого сад и гумно. У каждого крашены ставни, По праздникам мясо и квас. Недаром когда-то исправник Любил погостить у нас.

Оброки платили мы к сроку, Но – грозный судья – старшина Всегда прибавлял к оброку По мере муки и пшена. И чтоб избежать напасти, Излишек нам был без тягот. Раз – власти, на то они власти, А мы лишь простой народ.

Но люди — все грешные души. У многих глаза — что клыки. С соседней деревни Криуши Косились на нас мужики. Житье у них было плохое — Почти вся деревня вскачь

Пахала одной сохою На паре заезженных кляч.

Каких уж тут ждать обилий, — Была бы душа жива. Украдкой они рубили Из нашего леса дрова. Однажды мы их застали... Они в топоры, мы тож. От звона и скрежета стали По телу катилась дрожь.

В скандале убийством пахнет. И в нашу и в их вину Вдруг кто-то из них как ахнет! — И сразу убил старшину. На нашей быдластой сходке Мы делу условили ширь. Судили. Забили в колодки И десять услали в Сибирь. С тех пор и у нас неуряды. Скатилась со счастья вожжа. Почти что три года кряду У нас то падеж, то пожар».

* * *

Такие печальные вести Возница мне пел весь путь. Я в радовские предместья Ехал тогда отдохнуть.

Война мне всю душу изъела. За чей-то чужой интерес Стрелял я в мне близкое тело И грудью на брата лез.

Я понял, что я – игрушка, В тылу же купцы да знать, И, твердо простившись с пушками, Решил лишь в стихах воевать. Я бросил мою винтовку, Купил себе «липу»^[1], и вот С такою-то подготовкой Я встретил 17-й год.

Свобода взметнулась неистово. И в розово-смрадном огне Тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне. Война «до конца», «до победы». И тут же сермяжную рать Прохвосты и дармоеды Сгоняли на фронт умирать. Но всё же не взял я шпагу... Под грохот и рев мортир Другую явил я отвагу — Был первый в стране дезертир.

* * *

Дорога довольно хорошая, Приятная хладная звень. Луна золотою порошею Осыпала даль деревень. «Ну, вот оно, наше Радово, — Промолвил возница, — Здесь! Недаром я лошади вкладывал За норов ее и спесь. Позволь, гражданин, на чаишко. Вам к мельнику надо? Так вон!..

Я требую с вас без излишка За дальний такой прогон».

Даю сороковку.

«Мало!»

Даю еще двадцать.

«Нет!»

Такой отвратительный малый.

А малому тридцать лет.

«Да что ж ты?

Имеешь ли душу?

За что ты с меня гребешь?»

И мне отвечает туша:

«Сегодня плохая рожь.

Давайте еще незвонких

Десяток иль штучек шесть —

Я выпью в шинке самогонки

За ваше здоровье и честь...»

* * *

И вот я на мельнице... Ельник

Осыпан свечьми светляков.

От радости старый мельник

Не может сказать двух слов:

«Голубчик! Да ты ли?

Сергуха!

Озяб, чай? Поди, продрог?

Да ставь ты скорее, старуха,

На стол самовар и пирог!»

В апреле прозябнуть трудно, Особенно так в конце.

Был вечер задумчиво чудный,

Как дружья улыбка в лице.

Объятья мельника круты, От них заревет и медведь, Но всё же в плохие минуты Приятно друзей иметь.

«Откуда? Надолго ли?» «На год». «Ну, значит, дружище, гуляй! Сим летом грибов и ягод У нас хоть в Москву отбавляй. И дичи здесь, братец, до черта, Сама так под порох и прет. Подумай ведь только... Четвертый Тебя не видали мы год...»

Беседа окончена.

Чинно Мы выпили весь самовар. По-старому с шубой овчинной Иду я на свой сеновал. Иду я разросшимся садом, Лицо задевает сирень. Так мил моим вспыхнувшим взглядам Состарившийся плетень. Когда-то у той вон калитки Мне было шестнадцать лет, И девушка в белой накидке Сказала мне ласково: «Нет!» Далекие, милые были. Тот образ во мне не угас... Мы все в эти годы любили, Но мало любили нас.

«Ну что же! Вставай, Сергуша! Еще и заря не текла, Старуха за милую душу Оладьев тебе напекла. Я сам-то сейчас уеду К помещице Снегиной... Ей Вчера настрелял я к обеду Прекраснейших дупелей».

Привет тебе, жизни денница! Встаю, одеваюсь, иду. Дымком отдает росяница На яблонях белых в саду. Я думаю: Как прекрасна Земля И на ней человек. И сколько с войной несчастных Уродов теперь и калек! И сколько зарыто в ямах! И сколько зароют еще! И чувствую в скулах упрямых Жестокую судоргу щек.

Нет, нет!
Не пойду навеки.
За то, что какая-то мразь
Бросает солдату-калеке
Пятак или гривенник в грязь.
«Ну, доброе утро, старуха!
Ты что-то немного сдала?»
И слышу сквозь кашель глухо:

«Дела одолели, дела. У нас здесь теперь неспокойно. Испариной всё зацвело. Сплошные мужицкие войны — Дерутся селом на село. Сама я своими ушами Слыхала от прихожан: То радовцев бьют криушане, То радовцы бьют криушан. А всё это, значит, безвластье. Прогнали царя... Так вот... Посыпались все напасти На наш неразумный народ. Открыли зачем-то остроги, Злодеев пустили лихих. Теперь на большой дороге Покою не знай от них. Вот тоже, допустим... с Криуши... Их нужно б в тюрьму за тюрьмой, Они ж, воровские души, Вернулись опять домой. У них там есть Прон Оглоблин, Булдыжник, драчун, грубиян. Он вечно на всех озлоблен, С утра по неделям пьян. И нагло в третьёвом годе, Когда объявили войну, При всем честном народе Убил топором старшину. Таких теперь тысячи стало Творить на свободе гнусь. Пропала Расея, пропала... Погибла кормилица Русь...»

Я вспомнил рассказ возницы И, взяв свою шляпу и трость,

* * *

Иду голубою дорожкой И вижу – навстречу мне Несется мой мельник на дрожках По рыхлой еще целине. «Сергуха! За милую душу! Постой, я тебе расскажу! Сейчас! Дай поправить вожжу, Потом и тебя оглоушу. Чего ж ты мне утром ни слова? Я Снегиным так и бряк: Приехал ко мне, мол, веселый Один молодой чудак. (Они ко мне очень желанны, Я знаю их десять лет.) А дочь их замужняя Анна Спросила:

- Не тот ли, поэт?
- Ну, да, говорю, он самый.
- Блондин?
- Ну, конечно, блондин!
- С кудрявыми волосами?
- Забавный такой господин!
- Когда он приехал?
- Недавно.
- Ах, мамочка, это он!

Ты знаешь,

Он был забавно

Когда-то в меня влюблен.

Был скромный такой мальчишка,

А нынче...

Поди ж ты...

Вот... Писатель... Известная шишка... Без просьбы уж к нам не придет».

И мельник, как будто с победы, Лукаво прищурил глаз: «Ну, ладно. Прощай до обеда! Другое сдержу про запас».

Я шел по дороге в Криушу И тростью сшибал зеленя. Ничто не пробилось мне в душу, Ничто не смутило меня. Струилися запахи сладко, И в мыслях был пьяный туман... Теперь бы с красивой солдаткой Завесть хорошо роман.

* * *

Но вот и Криуша...
Три года
Не зрел я знакомых крыш.
Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу, на крыльце у Прона
Горластый мужицкий галдеж.
Толкуют о новых законах,
О ценах на скот и рожь.
«Здорово, друзья!»
«Э, охотник!

Здорово, здорово! Садись! Послушай-ка ты, беззаботник, Про нашу крестьянскую жисть. Что нового в Питере слышно? С министрами, чай, ведь знаком? Недаром, едрит твою в дышло, Воспитан ты был кулаком. Но всё ж мы тебя не порочим. Ты – свойский, мужицкий, наш, Бахвалишься славой не очень И сердце свое не продашь. Бывал ты к нам зорким и рьяным, Себя вынимал на испод... Скажи: Отойдут ли крестьянам Без выкупа пашни господ? Кричат нам, Что землю не троньте, Еще не настал, мол, миг. За что же тогда на фронте Мы губим себя и других?»

И каждый с улыбкой угрюмой Смотрел мне в лицо и в глаза, А я, отягченный думой, Не мог ничего сказать. Дрожали, качались ступени, Но помню Под звон головы: «Скажи, Кто такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он – вы».

На корточках ползали слухи, Судили, решали, шепча. И я от моей старухи Достаточно их получал.

Однажды, вернувшись с тяги, Я лег подремать на диван. Разносчик болотной влаги, Меня прознобил туман. Трясло меня, как в лихорадке, Бросало то в холод, то в жар, И в этом проклятом припадке Четыре я дня пролежал.

Мой мельник с ума, знать, спятил. Поехал, Кого-то привез... Я видел лишь белое платье Да чей-то привздернутый нос. Потом, когда стало легче, Когда прекратилась трясь, На пятые сутки под вечер Простуда моя улеглась. Я встал. И лишь только пола Коснулся дрожащей ногой, Услышал я голос веселый: «A! Здравствуйте, мой дорогой! Давненько я вас не видала. Теперь из ребяческих лет Я важная дама стала, А вы – знаменитый поэт.

Ну, сядем.

Прошла лихорадка? Какой вы теперь не такой! Я даже вздохнула украдкой,

Коснувшись до вас рукой.

Да...

Не вернуть, что было.

Все годы бегут в водоем.

Когда-то я очень любила

Сидеть у калитки вдвоем.

Мы вместе мечтали о славе...

И вы угодили в прицел,

Меня же про это заставил

Забыть молодой офицер...»

* * *

Я слушал ее и невольно Оглядывал стройный лик. Хотелось сказать: «Довольно! Найдемте другой язык!»

Но почему-то, не знаю, Смущенно сказал невпопад: «Да... Да... Я сейчас вспоминаю... Садитесь. Я очень рад. Я вам прочитаю немного Стихи Про кабацкую Русь... Отделано четко и строго.

По чувству – цыганская грусть».

«Сергей!

Вы такой нехороший. Мне жалко, Обидно мне, Что пьяные ваши дебоши Известны по всей стране. Скажите: Что с вами случилось?» «Не знаю». «Кому же знать?» «Наверно, в осеннюю сырость Меня родила моя мать». «Шутник вы...» «Вы тоже, Анна». «Кого-нибудь любите?» «Нет». «Тогда еще более странно Губить себя с этих лет: Пред вами такая дорога...»

Сгущалась, туманилась даль... Не знаю, зачем я трогал Перчатки ее и шаль.

Луна хохотала, как клоун. И в сердце хоть прежнего нет, По-странному был я полон Наплывом шестнадцати лет. Расстались мы с ней на рассвете С загадкой движений и глаз...

* * *

Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас.

Мой мельник... Ох, этот мельник! С ума меня сводит он. Устроил волынку, бездельник, И бегает как почтальон. Сегодня опять с запиской, Как будто бы кто-то влюблен: «Придите. Вы самый близкий. Слюбовью Оглоблин Прон». Иду. Прихожу в Криушу. Оглоблин стоит у ворот И спьяну в печенки и в душу Костит обнищавший народ: «Эй, вы! Тараканье отродье! Все к Снегиной!... Р-раз и квас! Даешь, мол, твои угодья Без всякого выкупа с нас!» И тут же, меня завидя, Снижая сварливую прыть, Сказал в неподдельной обиде: «Крестьян еще нужно варить».

«Зачем ты позвал меня, Проша?» «Конечно, ни жать, ни косить. Сейчас я достану лошадь И к Снегиной... вместе... Просить...» И вот запрягли нам клячу. В оглоблях мосластая шкеть —

Таких отдают с придачей, Чтоб только самим не иметь. Мы ехали мелким шагом, И путь нас смешил и злил: В подъемах по всем оврагам Телегу мы сами везли.

Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад.
Слезаем.
Подходим к террасе
И, пыль отряхая с плеч,
О чьем-то последнем часе
Из горницы слышим речь:
«Рыдай не рыдай — не помога...
Теперь он холодный труп...
Там кто-то стучит у порога...
Припудрись...
Пойду отопру...»

Дебелая грустная дама
Откинула добрый засов.
И Прон мой ей брякнул прямо
Про землю,
Без всяких слов.
«Отдай!.. —
Повторил он глухо. —
Не ноги ж тебе целовать!»
Как будто без мысли и слуха
Она принимала слова.
Потом в разговорную очередь
Спросила меня
Сквозь жуть:
«А вы, вероятно, к дочери?

Присядьте... Сейчас доложу...»

Теперь я отчетливо помню
Тех дней роковое кольцо.
Но было совсем не легко мне
Увидеть ее лицо.
Я понял —
Случилось горе,
И молча хотел помочь.
«Убили... Убили Борю...
Оставьте!
Уйдите прочь!
Вы — жалкий и низкий трусишка.
Он умер...
А вы вот здесь...»

Нет, это уж было слишком. Не всякий рожден перенесть. Как язвы, стыдясь оплеухи, Я Прону ответил так: «Сегодня они не в духе... Поедем-ка, Прон, в кабак...»

Всё лето провел я в охоте. Забыл ее имя и лик. Обиду мою На болоте Оплакал рыдальщик-кулик.

Бедна наша родина кроткая В древесную цветень и сочь, И лето такое короткое, Как майская теплая ночь. Заря холодней и багровей. Туман припадает ниц. Уже в облетевшей дуброве Разносится звон синиц. Мой мельник вовсю улыбается, Какая-то веселость в нем. «Теперь мы, Сергуха, по зайцам За милую душу пальнем!» Я рад и охоте... Коль нечем Развеять тоску и сон. Сегодня ко мне под вечер, Как месяц, вкатился Прон: «Дружище! С великим счастьем! Настал ожидаемый час! Приветствую с новой властью! Теперь мы всех р-раз и квас! Без всякого выкупа с лета Мы пашни берем и леса. В России теперь Советы И Ленин – старшой комиссар. Дружище!

Вот это номер!
Вот это почин так почин.
Я с радости чуть не помер,
А брат мой в штаны намочил.
Едри ж твою в бабушку плюнуть!
Гляди, голубарь, веселей!
Я первый сейчас же коммуну
Устрою в своем селе».

У Прона был брат Лабутя, Мужик – что твой пятый туз: При всякой опасной минуте Хвальбишка и дьявольский трус. Таких вы, конечно, видали. Их рок болтовней наградил. Носил он две белых медали С японской войны на груди. И голосом хриплым и пьяным Тянул, заходя в кабак: «Прославленному под Ляояном Ссудите на четвертак...» Потом, насосавшись до дури, Взволнованно и горячо О сдавшемся Порт-Артуре Соседу слезил на плечо. «Голубчик! — Кричал он. — Петя! Мне больно... Не думай, что пьян. Отвагу мою на свете Лишь знает один Ляоян». Такие всегда на примете. Живут, не мозоля рук. И вот он, конечно, в Совете, Медали запрятал в сундук. Но с тою же важной осанкой, Как некий седой ветеран,

Хрипел под сивушной банкой Про Нерчинск и Турухан: «Да, братец! Мы горе видали, Но нас не запугивал страх...»

Медали, медали, медали Звенели в его словах. Он Прону вытягивал нервы, И Прон материл не судом. Но всё ж тот поехал первый Описывать снегинский дом.

В захвате всегда есть скорость: – Даешь! Разберем потом! Весь хутор забрали в волость С хозяйками и со скотом.

А мельник...

Мой старый мельник Хозяек привез к себе, Заставил меня, бездельник, В чужой ковыряться судьбе. И снова нахлынуло что-то... Тогда я всю ночь напролет Смотрел на скривленный заботой Красивый и чувственный рот.

Я помню — Она говорила: «Простите... Была не права... Я мужа безумно любила. Как вспомню... болит голова... Но вас Оскорбила случайно... Жестокость была мой суд...

Была в том печальная тайна, Что страстью преступной зовут. Конечно, До этой осени Я знала б счастливую быль... Потом бы меня вы бросили, Как выпитую бутыль... Поэтому было не надо... Ни встреч... ни вообще продолжать... Тем более с старыми взглядами Могла я обидеть мать...»

Но я перевел на другое, Уставясь в ее глаза, И тело ее тугое Немного качнулось назад. «Скажите, Вам больно, Анна, За ваш хуторской разор?» Но как-то печально и странно Она опустила свой взор...

«Смотрите...

Уже светает.

Заря как пожар на снегу...

Мне что-то напоминает...

Но что?..

Я понять не могу...

Ах!.. Да...

Это было в детстве...

Другой... Не осенний рассвет...

Мы с вами сидели вместе...

Нам по шестнадцать лет...»

Потом, оглядев меня нежно И лебедя выгнув рукой, Сказала как будто небрежно:

«Ну, ладно... Пора на покой...»

Под вечер они уехали. Куда? Я не знаю куда. В равнине, проложенной вехами, Дорогу найдешь без труда.

Не помню тогдашних событий, Не знаю, что сделал Прон. Я быстро умчался в Питер Развеять тоску и сон. Суровые, грозные годы! Но разве всего описать? Слыхали дворцовые своды Солдатскую крепкую «мать».

Эх, удаль! Цветение в далях! Недаром чумазый сброд Играл по дворам на роялях Коровам тамбовский фокстрот. За хлеб, за овес, за картошку Мужик залучил граммофон, — Слюнявя козлиную ножку, Танго себе слушает он. Сжимая от прибыли руки, Ругаясь на всякий налог, Он мыслит до дури о штуке, Катающейся между ног. Шли годы Размашисто, пылко... Удел хлебороба гас. Немало попрело в бутылках «Керенок» и «ходей» у нас. Фефёла! Кормилец! Касатик! Владелец землей и скотом, За пару измызганных «катек» Он даст себя выдрать кнутом.

Ну, ладно. Довольно стонов! Не нужно насмешек и слов! Сегодня про участь Прона Мне мельник прислал письмо: «Сергуха! За милую душу! Привет тебе, братец! Привет! Ты что-то опять в Криушу Не кажешься целых шесть лет! Утешь! Соберись, на милость! Прижваривай по весне! У нас здесь такое случилось, Чего не расскажешь в письме. Теперь стал спокой в народе, И буря пришла в угомон. Узнай, что в двадцатом годе Расстрелян Оглоблин Прон. Расея... Дуровая зыкь она. Хошь верь, хошь не верь ушам — Однажды отряд Деникина Нагрянул на криушан. Вот тут и пошла потеха... С потехи такой – околеть. Со скрежетом и со смехом Гульнула казацкая плеть. Тогда вот и чикнули Проню, Лабутя ж в солому залез И вылез, Лишь только кони Казацкие скрылись в лес. Теперь он по пьяной морде Еще не устал голосить: «Мне нужно бы красный орден За храбрость мою носить...» Совсем прокатились тучи... И хоть мы живем не в раю, Ты всё ж приезжай, голубчик, Утешить судьбину мою...»

И вот я опять в дороге. Ночная июньская хмарь. Бегут говорливые дроги Ни шатко ни валко, как встарь. Дорога довольно хорошая, Равнинная тихая звень. Луна золотою порошею Осыпала даль деревень. Мелькают часовни, колодцы, Околицы и плетни. И сердце по-старому бьется, Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице...
Ельник
Усыпан свечьми светляков.
По-старому старый мельник
Не может связать двух слов:
«Голубчик! Вот радость! Сергуха!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог.
Сергунь! Золотой! Послушай!

И ты уж старик по годам... Сейчас я за милую душу Подарок тебе передам». «Подарок?» «Нет... Просто письмишко. Да ты не спеши, голубок! Почти что два месяца с лишком Я с почты его приволок».

Вскрываю... читаю... Конечно! Откуда же больше и ждать!

И почерк такой беспечный, И лондонская печать. «Вы живы?.. Я очень рада... Я тоже, как вы, жива. Так часто мне снится ограда, Калитка и ваши слова. Теперь я от вас далёко... В России теперь апрель. И синею заволокой Покрыта береза и ель. Сейчас вот, когда бумаге Вверяю я грусть моих слов, Вы с мельником, может, на тяге Подслушиваете тетеревов. Я часто хожу на пристань И, то ли на радость, то ль в страх, Гляжу средь судов всё пристальней На красный советский флаг. Теперь там достигли силы. Дорога моя ясна... Но вы мне по-прежнему милы, Как родина и как весна».

Письмо как письмо.

Беспричинно.

Я в жисть бы таких не писал.

По-прежнему с шубой овчинной

Иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом,

Лицо задевает сирень.

Так мил моим вспыхнувшим взглядам

Погорбившийся плетень.

Когда-то у той вон калитки

Мне было шестнадцать лет.

И девушка в белой накидке

Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие милые были!.. Тот образ во мне не угас.

Мы все в эти годы любили, Но, значит, Любили и нас.

Январь 1925

Батум

notes

Примечания

«Липа» – подложный документ. – Примеч. автора.